



Николь де Лорес

Скорость тишины

Точка нуля

СКОРОСТЬ ОБМАНЫВАЕТ.

ГЛАВНОЕ — УМЕТЬ ВОВРЕМЯ ОСТАНОВИТЬСЯ.

Николь Лорес

Скорость тишины. Точка нуля

Серия «Скорость тишины», книга 1

<https://litres.ru/73997594>

SelfPub; 2026

Аннотация

Она — дерзкая и бесстрашная. Регина Пегги Кейган, «Швейцарская ракета», привыкла, что мир у её ног, а подиум Формулы-2 пахнет шампанским. Один просчёт на трассе, роковая авария — и мир сужается до белого больничного потолка. Теперь её титулы — это сломанные кости, а главный соперник — собственное тело, которое не подчиняется.

Он — молчаливый и безжалостный. Даниэль Морган Спирс променял рёв моторов на тишину реабилитационного центра. Раньше он был талантливым гоночным инженером, но после гибели лучшего друга на трассе дал себе слово не возвращаться в мир скорости. Теперь его поле боя — чужая боль.

Когда Регина срывает злость на новом физиотерапевте, она не ожидает, что он ответит ей жёстким: «Ещё пять раз». Дэн — единственный, кто не смотрит на неё с жалостью. Он требует невозможного, заставляя её заново учиться стоять и верить. Но что движет им: профессионализм или чувство вины перед

прошлым? И почему его лицо кажется Регине знакомым, будто они встречались в другой, счастливой жизни?

Николь де Лорес

Скорость тишины.

Точка нуля

Пролог. Июль (Александр).

Восемь лет назад.

У скорости всегда один запах — смесь бензина и страха. Только приправляют его по-разному. В Формуле-1, куда мы все метим, это, говорят, дорогой одеколон спонсоров, перегретая телеметрия и озон от высоковольтных проводов гибридных двигателей. В нашей же Формуле-2, где мы грызем асфальт, приправа попроще: пот, ввевшийся в огнеупорное белье, жженная резина и кофе. Кофе из пластиковых стаканчиков, который пахнет дешевизной, но без него никак.

Воздух над паддоком сегодня особенный. Июльское солнце лупит по бетонным плитам, и над боксами дрожит мутное марево. Оно плавит очертания машин, превращая наши «тачки» в хищные миражи. Пахнет перегретым моторным маслом, оно с тихим шипением капает с картера на раскаленный коллектор. И еще пахнет надеждой. Дешевой, липкой, как пролитая кола под сиденьем, но от этого не менее обжигающей.

Формула-2 — это не глянцевые яхты Монако, куда мы все стремимся. Это грязь под ногтями, живой драйв и вечный

поиск спонсоров. Это выдавшие виды болиды, которым уже не один год, моторы, которые трудятся, и синяки от пятиточечных ремней безопасности, расцветающие на ключицах после каждой жесткой шиканы. Но для нас, двадцатилетних идиотов, это — все. Это наш трамплин в большую жизнь. Наш личный космодром.

Мне двадцать, и я, мать его, бессмертный. Это я так думаю...

Александр Михеев. Для друзей и для тех, кто хочет залезть ко мне в душу — Саня. Для соперников на трассе — головная боль с вечно включенным режимом «атака». В иностранные форумы русским всегда было тяжело пробиваться, но я так просто не отдам свое место. Про таких, как я, говорят: *«талантливый, но горячий»*. Я же говорю проще: у меня просто педаль газа всегда в полу, а веры в свою удачу больше, чем мозгов в черепной коробке. И именно поэтому у меня есть Даня.

Мой гоночный инженер — Даниэль Морган Спирс, или же Дэн. Хотя по привычке могу назвать его Даней. В ответ он зовет меня чаще не Саней или Сашей, а Алексом. Звучит так, будто я американский подросток... Через пару месяцев ему будет двадцать лет, как и мне, но по внутренним ощущениям — все тридцать пять. Он — мой якорь в этом безумном мире ревущих моторов.

Познакомились мы год назад на каких-то гонках. Мой гоночный инженер тогда не выучил телеметрию и *«устал со*

мной работать». Но Дэн, хоть и был просто зрителем не побоялся подойти и заговорить. Я тогда поржал: «Медик? Будешь бинты на переломы накладывать или пульс щупать?». А он в ответ начал разбирать мой же круг, который я выкладывал на YouTube пару недель назад. Там были такие цифры по точкам торможения и разгона, что у меня глаза на лоб полезли. Я понял: этот «медик» видит трассу так, как я не вижу даже из кокпита...

В тот раз мне удалось забрать первое место. Я уговорил директора и с тех пор мы неразлучны. Он — мозг, хладный, расчетливый, как процессор в этих его дурацких очках. Я — руки, сердце и педаль газа. И вместе мы, черт возьми, хорошая команда.

Сегодня квалификация перед гонкой. Дэн сидит в боксе на пит-уолле, низкая бетонная стена отделяет его от ревущей трассы. На нем рубашка-поло, поверх накинута ветровка команды, а на голове — наушники с микрофоном. Мониторы перед ним светятся графиками телеметрии. Он поправляет очки в тонкой металлической оправе. Жест, который я знаю наизусть — он так делает, когда волнуется или когда я творю какую-то дичь на треке. Взгляд у него цепкий, сканирует цифры быстрее, чем я прохожу поворот. В руках планшет с данными, в ушах — прямая связь со мной. Моя «персональная линия жизни».

— Третий сектор проседает, Алекс. — Голос в моих наушниках звучит спокойно, без паники, будто мы на лекции

в аудитории, а не на скорости 240 километров в час. — На выходе из шиканы газ открываешь на доли секунд раньше, чем нужно. Задние колеса буксуют. Теряешь две десятые. А для поула нам нужны полторы.

Я сжимаю руль так, что костяшки пальцев белеют под перчатками. Пот проступает на лбу, солнце бьет в щель шлема.

— Так резина хреново прогрета, Дэн! — говорю я в ответ, перекивая рев мотора и свист ветра. — Сцепления ноль, поэтому она и плывет!

— Не ной. Сцепление есть, просто ты торопишься. Хочешь выиграть время там, где его нет. Сбавь обороты на входе в шикану. Как на симуляторе полночи вчера делали. Помнишь траекторию?

Я закатываю глаза. Симулятор, твою мать... Я до сих пор вижу эти чертовы зеленые линии, когда закрываю глаза. Тысячу часов мы проторчали на тренажере команды за этой виртуальной байдой. Но, черт возьми, это работает. Потому что он знает мой мозг лучше меня самого.

— Понял... Еще круг попробую.

— Давай. И помни: точка торможения та же, что и на разминке. Не раньше. Доверься данным, а не своему инстинкту самоубийцы: он у тебя бракованный.

Последний круг квалификации. Тот самый, где решается все: где ты будешь завтра на стартовой решетке — впереди всех или в заднице. Я вхожу в злосчастную шикану. Внутри все кричит: *«Тормози! Стена близко!»*. Но я вспоминаю его

слова: «*Ты просто торопишься*». Я заставляю себя нажать на тормозную педаль в той точке, что мы обсуждали, ни раньше. Машину дико кидает, корму срывает в занос, резина визжит так, будто ее режут. Я чувствую, как вибрация отходит в руль, как позвоночник вжимается в сиденье. Я сбрасываю газ ровно настолько, насколько нужно, чтобы поймать этот скользящий баланс. Даю машине время подумать. И только потом — резко, до упора, педаль в пол.

Мотор взрывается ревом.

— Идеально! — кричит Дэн мне в уши так, что я на секунду гложу. В его голосе, всегда таком ровном, сейчас звенит мальчишеский восторг. — Ты прошел ее чище, чем Феттель в прошлом году! Отжиг давай на прямой! Алекс, жми, у нас третий сектор зеленый!

Я жму, уже не думая. Я сливаюсь с машиной в одно целое. Мотор ревет на пределе семи тысяч оборотов. Мелькают отбойники, трибуны, размытое пятно неба. Клетчатый флаг проносится над головой, и я забираю второе место на стартовой решетке. Наш лучший результат в сезоне. Я ору что-то нечленораздельное в эфир и машу кулаком.

Остановившись у бокса, я вылезаю из кокпита, будто меня катапультировали. Ноги ватные, мышцы дрожат от перенапряжения. Комбинезон мокрый, хоть выжимай, но улыбка разрезает лицо пополам, до самых ушей. Я пьян адреналином и счастьем.

Дэн уже идет ко мне, снимая наушники и кладя планшет

на стул. Мы сталкиваемся на нейтральной полосе между боксами. Я со всей дури хлопаю его по плечу, так, что очки, которые он носит на кончике носа, окончательно слетают с его носа и болтаются на шнурке.

— Ты видел этот выход?! Я думал, вылечу к чертям собачьим, а она, сука, легла как влитая! Я чувствовал ее!

— Видел, — Дэн поправляет очки, водружая их обратно на переносицу. Прядь русых волос прилипла к его вспотевшему лбу. Но в глазах за стеклами, обычно таких серьезных, сейчас пляшет огонек. Довольный блеск. — Данные не врут. Твой пульс был под сто восемьдесят, но траектория идеальная. Слушай меня всегда — и мы уедем отсюда на лимузине, а не на эвакуаторе.

— Ты, как всегда, гениален, Дэн! — Я ору, потому что в ушах еще звенит. — Откуда ты знаешь, где именно нужно тормозить? Ты что, провидец?

Дэн пожимает плечами. Он вообще редко проявляет эмоции, но я-то вижу — ему приятно. Он снимает очки и начинает протирать стекла краем поло.

— Я уже говорил: это все математика, физика и нейробиология. Расчет траектории, инерция, скорость реакции на визуальный стимул. Ты пилот, а я инженер. Мы команда. И в этой команде у каждого своя работа. Твоя — крутить руль и давить на газ. Моя — сказать тебе, когда именно это делать.

— С такими мозгами, Дэн, мы в следующих годах до Формулы-1 доедем! Вот увидишь! — хохочу я, чувствуя небы-

важный подъем. Весь мир сейчас кажется пластилиновым, податливым. — Монако, тоннель, поворот «Левс», бассейн — все наше будет! Я тебе обещаю. Мы там еще чай попьем.

К нам уже подтягиваются люди из паддока. Механики хлопают по спине, кто-то из соперников с завистью косится на наш, не самый мощный, но быстрый бокс. Журналисты с диктофонами ждут комментариев. И тут, сквозь пеструю толпу, я замечаю ее.

Девчонка лет пятнадцати. Худая, взгляд острый, колючий, как репей, который вцепился в штанину и не оторвешь. Темные, почти черные волосы торчат из-под выцветшей красной бейсболки. Одета в гоночный комбинезон, который наполовину расстегнут, как часто носят гонщики после заездов. На ногах — кроссовки. Я бы прошел мимо, не заметив, если бы не глаза. Она смотрит на меня исподлобья, волком, но при этом в ее взгляде оливковых глаз плещется такое отчаянное, почти религиозное обожание, что мне становится неловко. И еще там что-то такое... упертое. Как будто она не просит автограф, а требует: *«Ты мне должен»*.

В руках у нее был блокнот и черный маркер. Я уже собираюсь идти к журналистам, как она срывается с места и подлетает ко мне, пока я говорю с Дэном. Голос у нее звонкий, но с хрипотцой, совсем не девчачий. Да, кроме этого, в ее английской речи слышится непривычный для слуха немецкий акцент. Хотя я хорошо знаю английский и свободно на нем говорю, но мне приходится напрягаться.

— Александр, распишитесь! — Она не спрашивает, а констатирует, в это же время протягивая блокнот. — Я Регина Пегги Кейган. Я тоже буду гонимой. Лучшей!

Я фыркаю и скашиваю взгляд на Дэна, пытаюсь найти поддержку своему скепсису. Девчонка в автогонках? В этом мире пота, мата, огня и железа? У нее кукольное, почти детское личико с россыпью бледных веснушек на переносице. Тонкие руки, острые локти. Такими руками руль на перегрузках в 3G не вывернуть, тут бицепсы нужны, а не спички. И этот ее комбинезон женской Формулы-Академик, который выглядит так, будто в нем до нее гоняли еще в прошлом веке.

Я снисходительно улыбаюсь: *«Ну-ну... Мы все в семнадцатой Наполеоны»*.

— Ага, давай сюда, — говорю я тоном старшего товарища, который видел жизнь. — Сперва вырасти, водить научись так, чтобы механики не плевались, а потом уже в Формулу. Поняла, звезда?

Я беру маркер и ставлю размашистый автограф на первой странице блокнота, даже не глядя на имя, которое она там вывела. Я уже отворачиваюсь, высматривая в толпе механика с бутылкой воды: горло пересохло адски.

И вдруг я слышу голос Дэна. Он звучит иначе... Я хорошо знаю этот его тон. Так он говорит, когда в больнице видит интересный клинический случай. Не с сочувствием, а с холодным профессиональным любопытством.

Он не смеялся надо мной, когда я ставил автограф. Он во-

обще не издал ни звука. Просто стоял, сложив руки на груди, и смотрел на эту мелкую Регину. Смотрел серьезно, пристально, как на свои медицинские схемы в анатомичке, изучая редкий экземпляр под микроскопом. Его взгляд скользнул по ее напряженной позе, по сбитым костяшкам пальцев (видимо, работала с механиками), по тому, как она стоит — твердо, вставляя ногами в асфальт, несмотря на ветер и толкотню вокруг.

— Знаешь, что главное в гонках? — спросил он ее негромко. В его голосе не было ни капли моего снисхождения.

Регина замерла. Ее пальцы сжали блокнот с моим автографом так, будто это была не бумага, а титановая пластина. Она перевела взгляд с меня на Дэна. Я видел, как в ее глазах мелькнуло замешательство, смешанное с любопытством. Обычно фанатки смотрели на меня, а не на тихого парня в очках.

— Талант? — неуверенно предположила она. — Или... быстрая машина? ...Мотор поновее?

Дэн медленно покачал головой. Солнце блеснуло на стеклах его дурацких очков, на секунду превратив их в два непроницаемых зеркала. Он смотрел ей прямо в глаза, и я вдруг почувствовал себя лишним. Как будто между ними происходил какой-то свой, отдельный разговор.

— Скорость — это иллюзия. Она обманывает всех: и тебя, и машину, и время... — сказал он медленно, словно вбивая каждое слово в ее сознание. — Главное — уметь вовремя

нажать на тормоз. Почувствовать тот самый момент, когда еще секунда — и ты потеряешь все.

Он сделал паузу. Я видел, как Регина сглотнула. Даже у меня по спине пробежал холодок от его тона...

— И главное, — продолжил Дэн, чуть наклонившись к ней, чтобы быть с ней на одном уровне, — слушать того, кто говорит тебе, когда это сделать. Пилот без инженера — просто лихач на дороге. Если захочешь дальше побеждать в гонках, то запомни это... Крепко-накрепко.

Он развернулся и пошел к нашим боксам, даже не взглянув на меня. Просто засунул руки в карманы ветровки и растворился в толпе механиков. А я стоял как дурак с открытым ртом.

«Ну, философ хренов... Студент-медик, будущий невролог, что с него взять. Сейчас начнет мне рассказывать про нейронные связи и дофаминовые ловушки.» — подумал я.

Я пожал плечами и, улыбнувшись в камеру, пошел давать интервью.

Девчонка с блокнотом так и осталась стоять на месте. Я был уверен, что она забудет эти странные, пафосные слова через минуту, как только мы скроемся из вида. Побегит просить автограф у гонщиков из топ-команды или пойдет посмотреть на свою старую машинку в боксе женской серии.

Я ошибался. Чертовски сильно ошибался... И эта ошибка, как и многие другие мои ошибки, будет стоить дорого. Но не ей... Ей эти слова засели в подкорку. Как шип, который

не вытащить.

А пока... Пока я бессмертный, мне двадцать, и я еду в Монако за своей судьбой.

Глава 1. Золотая клетка (Регина).

Настоящее время. Гран-При Венгрии.

Перед стартом сердце стучит где-то в горле. Не в груди — именно в горле, у самого кадыка. Я чувствую пульсацию в кончиках пальцев, сжимающих руль, обтянутый алькантарой. Это мой личный метроном. Так было всегда, с самого первого картинга, когда отец запихнул меня, десятилетнюю, в кокпит и сказал: *«Газуй, дочка. Или бойся, но тогда вылезай».*

Я не вылезла. И сейчас не вылезу.

Если сердце перестанет биться — я умру от страха. Это аксиома. Если забьется слишком ровно, убаюкивающе — я умру от скуки, потеряю концентрацию, пропущу точку торможения. Сейчас оно колотится, как пойманная птица в клетке ребер. Как дикий зверь, который рвется наружу, царапая когтями легкие. И это правильно. Этот ритм, этот адский, животный пульс в висках значит только одно: я все еще жива. Я не превратилась в функцию, в красивую картинку для спонсоров. Я — Регина Пегги Кейган. Гонщица. Пока еще человек...

Красные огни на стартовой решетке загораются один за другим. Я не смотрю на них — я смотрю сквозь них, туда, где

через 300 метров первый поворот. Но периферийным зрением фиксирую этот отсчет.

Пять.

Воздух в легких становится густым. Я делаю вдох через нос. Запах химии огнеупорного подшлемника, ударяет в мозг, обостряя восприятие.

Четыре.

Мышцы бедер напряжены, левая нога стоит на педали сцепления. Я чувствую вибрацию мотора всем телом — он передается через кресло-ковш прямо в позвоночник, в самый мозг.

Три.

Фред в наушнике молчит. И правильно. Сейчас не время для его холодных инструкций. Сейчас — мое время. Время инстинкта...

Два.

Я мельком смотрю на руль. На дисплее горят зеленым цифры температуры шин. Восемьдесят два градуса. Рабочая зона. Мальчики в боксах постарались, выкатали меня идеально.

Один...

Мир сужается до размерного прямоугольника лобового стекла. Три километра асфальта впереди — моя вселенная на ближайшие полтора часа. Трибуны, небо, люди, флаги — все это исчезает, превращается в серый шум на периферии. Есть только асфальт. И мотор.

Зеленый!

Я срываюсь с места раньше, чем мозг успевает отдать команду ноге. Это рефлекс, вбитый сотней стартов. Перегрузка в 2G вдавливают меня в кресло, шея уходит глубоко в подголовник, внутренности сплющивает, прижимает к позвоночнику. На мгновение становится трудно дышать, диафрагма проседает, но это привычно. Это даже приятно...

Стартовая прямая проносится за три секунды. Мимо летят смазанные пятна зрителей на трибунах — желтые, красные, синие куртки. Рекламные щиты отражаются в визоре шлема. Цифры на руле колеблются в красной зоне — 7000 оборотов, 7200, 7500... Переключаюсь, даже не глядя на тахометр. Звук мотора говорит мне больше, чем любая электроника. Я слышу каждую ноту, каждое изменение.

— Третий поворот скользкий, — голос Фреда врывается в уши сквозь шум. Мой гоночный инженер. Холодный, четкий, безупречный, как скальпель. — После утреннего дождя вода стоит на внешнем радиусе. Машину будет тащить наружу. Аккуратнее на входе.

Знаю. Я чувствую это спиной раньше, чем он открывает рот. За несколько лет в кокпите я научилась читать асфальт кожей, каждой косточкой, каждым нервом. Машина для меня — не просто кусок карбона на колесах. Это продолжение моего тела, мой экзоскелет. Руль — это мои руки, чувствующие каждую неровность, каждую песчинку. Педали — мои ноги, сросшиеся с гидравликой тормозов. Подвеска —

мой позвоночник, который принимает на себя каждый стук, каждый удар бордюра, каждую вибрацию асфальта.

Я вхожу в связку. Третий поворот — быстрый левый. Машина на скорости 140 километров в час клюет носом, центр тяжести смещается вперед. Я вижу влажную полосу на асфальте. Она лежит вдоль внешнего круга. Блестит матовым, опасным блеском.

Интуиция орет в голове истеричным голосом: *«Сбрось! Сбрось раньше! Не рискуй, дура!»* Я слышу этот голос. Он всегда орет. Это голос моего отца, голос всех тех, кто говорил, что девушке не место в Формуле. Но интуиция — для слабаков. Для тех, кто не знает скорость.

Я бью по тормозам. Не раньше, не позже. Ровно в ту долю секунды, когда машина уже клюет носом, перенося вес на переднюю ось. Десять метров торможения до скорости 60 километров в час. Давление в системе — 120 бар. Я чувствую, как колодки вгрызаются в карбоновые диски, как резина сжимается, цепляясь за асфальт.

Ювелирная работа. Как скальпелем по руке — одно неверное движение, и ты труп...

Отпускаю педаль. Докручиваю руль на семнадцать градусов. Машина послушно вкручивается в поворот, вгрызаясь шинами в мокрую полосу. Заднюю ось чуть сносит, я чувствую это ягодицами, мышцами спины, и мгновенно компенсирую легким нажатием на газ. Баланс. Равновесие на лезвии ножа.

Контроль. Полный. Абсолютный. Наркотический контроль...

Вот ради чего я живу. Не ради кубков, не ради шампанского на подиуме, не ради фотографий в глянцевых журналах. Ради этих секунд, когда мир исчезает, и остаемся только я и машина. И мы танцуем на скорости 240 километров в час.

Я не вижу зрителей. Честно... Для меня их сейчас нет. Трибуны — просто серая полоса по краям периферийного зрения, фоновый шум, который не проходит сквозь шлем и гарнитуру. Я слышу только мотор — его ритм, его дыхание, его рокот на пределе семи с половиной тысяч оборотов. И голос Фреда в ухе, но сейчас он молчит, потому что я делаю все идеально. Я вижу только траекторию — идеальную линию, которую вычерчиваю миллиметр к миллиметру, круг за кругом.

До финиша еще 16 кругов, но вижу желтый флаг — что-то произошло и выезжает машина безопасности. Фред советует ехать на пит-стоп, менять резину. Я согласна, так что через полминуты подъезжаю к боксам. Механики уже стоят наготове. Они у нашей команды молодцы: колеса быстро меняют. Я выезжаю с пит-стопа удачно, так что мне удастся обогнать двух гонщиков. Сейчас я лидирую, так что это не может не радовать.

Уже через четыре круга все устраниют, и я возвращаюсь к привычной скорости, продолжая лидировать. Но Линда, моя соперница в хорошем смысле этого слова, висит у меня на

хвосте. Разница в 1,8 секунд — не мало, но нужно быть осторожной.

За поворотами показывается финишная прямая. Кто-то из приглашенных гостей машет одним из флагов.

Я пересекаю линию первой.

— Регина Кейган побеждает на Гран-При Венгрии! — голос комментатора звучит в наушниках. — Это ее пятая победа в сезоне! Прекрасный результат! Браво!

Я сбрасываю скорость. Мотор постепенно замолкает. Тишина в ушах вдруг звенит громче, чем ревел двигатель. Проехав круг, я выключаю зажигание, и мир вокруг становится ватным, приглушенным. Я выдыхаю. Впервые за последние полтора часа.

Воздух выходит из легких с хрипом, со стоном. Руки на руле дрожат мелкой противной дрожью — адреналин стремительно уходит из крови, уступая место эндорфиновой пустоте. В висках стучит, но уже не от страха. От опустошения.

Победа! Очередная победа!

Я отстегиваю ремни и выбираюсь из кокпита. Не спеша подхожу к механикам, они хлопают меня по плечам, спине и шлему, что-то кричат. Я улыбаюсь им, но улыбка приклеена к лицу, как маска.

Подиум. Шампанское ледяное, брызжет в глаза, щиплет, смешивается с потом на лбу. Пахнет виноградом и алкоголем: тошнотворно сладко. Я улыбаюсь. Улыбаюсь так, что болят скулы. Фотографы щелкают затворами, выкрикивают

мое имя, просят повернуться, посмотреть туда-сюда, улыбнуться.

— Регина, сюда! Регина, поднимите кубок выше!

Я поднимаю. Я делаю, что они просят. Я — идеальная картинка. «Швейцарская ракета». Лицо спонсоров и мечта маркетологов.

Классическое интервью... Камера смотрит мне в лицо своим холодным стеклянным глазом. Красный огонек горит, высасывая из меня остатки жизни. Микрофон с логотипом спонсора подносят к губам. Ведущий — молодой паренек с уложенными волосами и отбеленными зубами. Смотрит на меня с обожанием щенка, которого погладили по голове.

— Регина, это просто невероятно! — его голос сочится фальшивым восхищением. — Вы просто феноменально прошли тот момент, когда начался дождь! Все поехали в боксы за промежуточными шинами, а вы остались на медиуме! Как вам удастся сохранять такое хладнокровие?

Вопросы одинаковые каждый раз, как под копирку... И ответы у меня тоже заготовлены. Красивые, пафосные, цитируемые. Я могу произнести их во сне, под дулом пистолета, в любом состоянии.

Я смотрю прямо в объектив. Улыбаюсь той самой улыбкой, за которую меня любят спонсоры. Уверенной, немного дерзкой, с легким прищуром, но достаточно женственной, чтобы не распугать рекламщиков брендов.

— У страха есть только одно топливо — бездействие. —

Мой голос звучит ровно, в нем нет дрожи. Я иногда сама поражаюсь, как убедительно вру. — Я сжигаю его в моторе. Жму на педаль — и страх сгорает в пламени. Все, что остается: это пепел и свобода впереди.

— Вау! — ведущий округляет глаза, играя на публику. — Это поэзия! Регина, вы не только гонщица, вы — философ скорости! Настоящий поэт!

Толпа за его спиной ревет. Скандирует мое имя. Кто-то размахивает плакатом с надписью: «*Регина, выйди за меня!*». Кто-то протягивает фотографии для автографа. Группа девчонок лет четырнадцати в бейсболках с моим номером плачут от счастья, прижимая к груди программки.

Я машу рукой, улыбаюсь. И внутри меня — пустота. Звнящая, ледяная пустота...

Мне двадцать три года. Я лучшая в молодежной программе команды «Crimton Ignpection Motorsports Group». Первая в личном зачете Формулы-2. Дочь человека, который когда-то привел меня в картинг, где и началась моя карьера. Девушка, которая не боится смерти и смотрит ей в лицо каждый раз, садясь в кокпит.

Вот только смерть, кажется, боится меня. И это почему-то больше не радует. Это пугает... Потому что, когда смерть боится тебя — ты перестаешь чувствовать жизнь.

Семь лет назад. Паддок Формулы-2.

Мне уже шестнадцать. Я еще никто. Подающая надежды,

но все еще никто.

Я стою на пит-лейне после чужой гонки. Не моей — я тогда только пробивалась, смотрела, училась, впитывала каждую деталь, как губка. Но этот день я запомнила навсегда. Не из-за результатов, не из-за погоды, не из-за аварии, которой, слава богу, не случилось. Из-за одного короткого разговора.

Высокий парень в очках выходит из боксов. Я узнаю его сразу, хотя прошло чуть больше года. Та же худощавая фигура, те же очки в тонкой металлической оправе, та же манера смотреть на мир так, будто он рассматривает его под микроскопом. Дэн, тот инженер Михеева, который сказал мне слова, засевшие в подкорке как осколок стекла — не вытащить, не забыть.

Он идет к выходу из паддока, и я срываюсь с места. Ноги несут сами. Набираю воздуха в легкие и подбегаю к нему, как идиотка.

— Привет, — выдыхаю я. Голос звучит глупо, по-детски. Я ненавижу себя в этот момент.

Дэн останавливается. Смотрит на меня поверх очков. Взгляд у него цепкий, изучающий, но не оценивающий. Он не раздевает глазами, как другие парни в паддоке. Он сканирует. Как рентгеновский аппарат. Смотрит в самую суть. Мне становится не по себе, мурашки бегут по спине, но я не отвожу глаз.

— Мы знакомы? — спрашивает он спокойно. Голос у него низкий, с легкой хрипотцой усталости.

— Нет. То есть да. Не совсем... — я путаюсь в словах, как девчонка на первом свидании, и злюсь на себя за это. Сжимаю кулаки так, что ногти впиваются в ладони. — Ты вряд ли помнишь. Чуть больше года назад. Квалификация перед гонкой в Нидерландах. Ты был с гонщиком Михеевым. Я брала у него автограф. А ты сказал мне тогда...

Я зажмуриваюсь на секунду. Картинка встает перед глазами с фотографической четкостью: жаркий июльский день, запах жженой резины, его спокойный голос, перекрывающий шум паддока.

— Ты сказал: *«Скорость — это иллюзия. Она обманывает. Главное — уметь вовремя остановиться. И слушать того, кто говорит тебе, когда это сделать»*. Я запомнила дословно.

Дэн молчит долгих пять секунд. Я уже начинаю жалеть, что подошла. Уже готова развернуться и убежать, провалиться сквозь бетонные плиты пит-лейна. И вдруг в углах его губ появляется что-то похожее на улыбку. Тень улыбки.

— Помню, — говорит он тихо. — Темноволосая дерзкая девчонка с блокнотом. Ты еще смотрела на нас так, будто хотела прожечь дыру во лбу. Лазером.

Я чувствую, как краснеют щеки. Проклятая привычка...

— Я не темная, — автоматически огрызаюсь я. Это глупо, но я не могу промолчать.

— Темная, — спокойно парирует он, не отводя взгляда. — Вороново крыло. И блокнот до сих пор носишь?

Я продолжаю краснеть. Потому что блокнот действительно лежит в рюкзаке. Всегда. Я записываю туда настройки, траектории, свои ощущения после кругов, погодные условия, давление в шинах. Необычная привычка, над которой изредка хихикают механики. *«Зачем тебе бумага, Регина? Есть же телеметрия, компьютер все запомнит»*. Но мне нужна бумага. Мне нужно писать рукой, чувствовать, как буквы ложатся на страницу.

— Зачем ты подошла? — спрашивает он, и в голосе нет праздного любопытства. Только профессиональная фиксация факта. Он действительно хочет понять.

Я теряюсь. Зачем? Я сама не знаю. Увидела его в толпе — и ноги понесли. Будто кто-то толкнул в спину.

— Сказать спасибо, — выпаливаю первое, что приходит в голову. И тут же понимаю, что это правда. — Твои слова... они засели. Как заноза. Я тогда не поняла, огрызнулась про себя, забыла. А потом, полгода спустя, на трассе в Монце, когда меня развернуло на мокром асфальте и я чудом не влетела в отбойник... я вспомнила. И теперь понимаю.

Дэн кивает медленно, будто именно этого ответа и ждал.

— И как? — спрашивает он. — Умеешь теперь останавливаться?

Я молчу. Потому что правда — нет. Не умею. Я умею только газовать. Только нестись вперед, сломя голову, не видя берегов. Останавливаться — это не про меня.

Он читает ответ в моих глазах раньше, чем я открываю

рот.

— Ладно, — вздыхает он, поправляя очки. — Удачи тебе, Регина. Я слышал о тебе. Говорят, талантливая, но дурная. Береги себя. И помни: тормоз — это не слабость. Тормоз — это инструмент. Самый важный инструмент в гонках.

Он уходит, засунув руки в карманы ветровки. Не оглядывается. А я стою и смотрю ему вслед, чувствуя, как внутри что-то переворачивается. И почему-то кажется, что этот короткий, странный разговор важнее всех моих будущих побед.

Настоящее время. Номер в отеле, Будапешт.

Ночь после гонки. За огромным панорамным окном — неоновая реклама, мигающая разными цветами. Зеленый, синий, красный, снова зеленый. Город живет своей жизнью, шумит, дышит, движется. Я стою на лоджии в шортах и кофте, надетой поверх майки, и разглядываю этот город сверху вниз.

Номер за моей спиной пахнет стерильной чистотой. Кондиционированный воздух, ароматизатор с запахом лаванды, свежее постельное белье, которое еще хранит складки от фабричной упаковки. И моим одиночеством. Оно въелось в эти стены, в эти идеально взбитые подушки, в этот минималистичный интерьер.

На тумбочке вибрирует телефон. Я подхожу к кровати и беру его. Не глядя на экран, набираю номер отца. Первый раз за вечер. Второй. Третий.

Гудок. Еще гудок. Еще... Но в итоге слышу классический автоответчик: *«Абонент временно недоступен. Пожалуйста, перезвоните позднее или оставьте сообщение после сигнала»*.

Автоматический голос режет по ушам. Я сбрасываю и швыряю телефон на кровать. Не со всей силы: иначе придется покупать новый. Хоть денег у меня много, но я из вида людей, которые любят все поберечь. Телефон подпрыгивает на матрасе и замирает экраном вверх.

Отец не берет трубку. Он никогда не берет трубку после моих гонок. Сначала я злилась, обижалась до слез. Кричала в пустоту гостиничных номеров, разбила один телефон об стену, написала ему длинное, истеричное письмо, которое так и не отправила... Но теперь я понимаю.

Он сидит сейчас в своем гараже, в том самом, где собрал мой первый карт. Там пахнет машинным маслом, жженой резиной и металлической стружкой. На верстаке — кружка с остывшим чаем, рядом — разобранный карбюратор от какой-то древней машины. Он смотрит трансляцию моей гонки на мониторе, который я ему подарила три года назад. Каждый поворот, каждое мое движение, каждую секунду... И не может дышать от страха.

Он, который учил меня не бояться ничего. Который сказал: *«Газуй или вылезай»*. Который вложил в мои руки руль и верил в меня больше, чем я сама в себя верила. Теперь он боится за меня так, как я никогда не боялась за себя. Он

проживает каждую мою гонку как личную пытку.

Он не берет трубку, потому что боится услышать в моем голосе усталость. Или — не дай бог — боль. Или — что еще хуже — равнодушие.

Золотая клетка победы — это когда ты на вершине, а тот, кто тебя туда привел, не может на тебя смотреть. Потому что каждый взгляд — это ожидание удара.

Я сжимаю кулак так, что ногти впиваются в ладонь, оставляя белые полумесяцы на коже. Боль отрезвляет, помогает привести мысли в порядок.

Ну и пусть. Я не для того становилась лучшей, чтобы сейчас останавливаться. Я не для того прошла через косые взгляды, насмешки, падения на картинге, разбитые колени, сломанное запястье, чтобы все бросить. Я — Регина Пегги Кейган. Я рождена для скорости.

За окном спит ночной Будапешт. Миллионы огней, миллионы жизней. И где-то там, в одной из этих жизней, ходит по земле человек в очках с тонкой металлической оправой. С длинными пальцами пианиста или хирурга. С взглядом, который сканирует тебя до костей.

Дэн. Инженер, который когда-то сказал глупой девчонке слова, перевернувшие ее жизнь.

Я смотрю в темное стекло, где виднеется отражение. А вижу я женщину с уставшими глазами. Темные круги под нижними веками. Заострившиеся скулы. Припухшие от усталости губы. Короткие волосы торчат в разные стороны, мокрые

после душа.

Где ты сейчас, умник? И почему твои слова всплывают в моей голове именно сегодня? Почему именно сейчас, когда я выиграла очередную гонку, когда, казалось бы, должна быть счастлива, я чувствую себя абсолютно, тотально, звеняще пустой?

Я отворачиваюсь от окна. Хватит. Завтра рано вставать.

Телефон на кровати загорается. Я вздрагиваю, хватаю его быстрее, чем осознаю движение. Сообщение от пресс-атташе команды. Не от отца...

«Регина, завтра съемка для спонсора в 9 утра. Стилист будет в 8. Не опаздывай, это важно. И выспись: ты выглядишь уставшей на фотографиях».

Я читаю сообщение дважды. Потом бросаю телефон обратно на кровать и ложусь поверх одеяла: гонки, работа, снова гонки и снова работа... Пресс-конференции, съемки, интервью, автограф-сессии. И так по кругу, как заезженная пластинка. Золотая клетка захлопывается. Я сама захлопнула ее за собой. И ключа от нее нет. Потому что я выбросила его в тот момент, когда впервые села за руль и нажала на газ.

Где-то в ночном Будапеште воеет сирена служебной машины. Я закрываю глаза и перед внутренним взором встает лицо того гонщика. Его спокойный, изучающий взгляд поверх очков. И слова, сказанные шесть лет назад: *«Тормоз — это не слабость. Тормоз — это инструмент».*

Я не умею тормозить. Я до сих пор не умею тормозить...

Глава 2. Тишина в палате (Даниэль).

7 часов утра.

Реабилитационный центр «Восхождение». Название громкое, пафосное, с претензией на что-то великое. Такие названия обычно придумывают люди в дорогих костюмах, сидя в чистых кабинетах с кондиционерами. Люди, которые никогда не видели, как на самом деле трудно подняться тем, кого жизнь уже сбила с ног. Которые не держали за руку человека, делающего свой первый шаг после инсульта. Которые не слышали этот хриплый, надрывный выдох — смесь боли, усилия и крошечной, едва незаметной надежды.

Здесь нет громких слов. Здесь нет спонсоров, нет логотипов брендов на стенах, нет телекамер, которые ловят твой «идеальный ракурс». Здесь пахнет иначе. Хлорка, которой моют полы три раза в день, потому что установлены санитарные нормы. Лекарства — микстуры, таблетки, мази с разными запахами, капельницы. И человеческая боль. Она не имеет запаха в прямом смысле, но она пропитывает воздух, въедается в одежду, в кожу, в мысли. Боль, запертая в немощных телах, в атрофированных мышцах, в суставах, которые отказываются слушаться.

Этот запах — коктейль из хлорки, лекарств и отчаяния — сначала кажется невыносимым. Ко второму году работы ты перестаешь его замечать. Адаптируешься, как к белому шуму. К пятому году понимаешь: он стал частью тебя. Ты

приносишь его домой на своей одежде, ты чувствуешь его в своих волосах, когда ложишься спать. И уже не можешь без него. Потому что этот запах — запах правды. Настоящей, неприглядной, неотфильтрованной правды о том, что такое человеческая жизнь.

— Мистер Спирс, он опять не хочет...

Медсестра Кэтрин стоит в дверях ординаторской, разводит руками. Жест беспомощный, извиняющийся. Она кивает головой в сторону палаты номер семь. В ее глазах — усталость пополам с мольбой о помощи. Кэтрин здесь всего три месяца. Она еще не научилась прятать эмоции за профессиональной броней, не научилась отстраняться, не принимать близко к сердцу. Она приходит домой и плачет в подушку после тяжелых смен. Я знаю, я видел таких, как она, десятки. Половина уходит в первый год. Половина из оставшихся черствеет и превращается в функции. И лишь единицы находят тот самый баланс: сострадать, но не тонуть в чужой боли.

Я киваю: понимаю.

Джорджио — мой очередной личный вызов. Мой экзамен, который я сдаю каждый день. 62 года, бывший прораб, человек, который привык командовать, управлять, держать все под контролем. И вдруг — инсульт. Обширный. Левая сторона тела отказала, речь нарушилась, координация — как у новорожденного. Полгода назад он еще орал на рабочих, спорил с заказчиками до хрипоты, курил на балконе по но-

чам, глядя на огни города, и строил планы на новую дачу. Беседку хотел поставить, виноград посадить. Сейчас он учится заново ходить. Инсульт не щадит никого: ни прорабов, ни министров, ни гонщиков, ни детей. У смерти нет дискриминации по социальному статусу.

Я захожу в палату без стука. Здесь не до этикета. Здесь каждая минута на счету, и формальности только отнимают время и силы.

В кресле у окна сидит мужчина. Вернее, то, что от него осталось. Когда-то он был крупным, крепким, с широкими плечами и мощными руками, которые могли держать и кувалду, и чертежи. Сейчас он похож на сдувшийся воздушный шар. Кожа обвисла на предплечьях, мышцы атрофировались за полгода бездействия, превратились в дряблые жгуты. Лицо осунулось, заострилось. Глаза — воспаленные, красные, с лопнувшими сосудами. Он смотрит в окно, но я знаю: он не видит ни неба, ни деревьев. Он смотрит внутрь себя, в ту черную дыру, которая образовалась на месте его прежней жизни.

— Джорджио.

Я сажусь на корточки перед ним. Это важный жест. Не нависать, не давить сверху, не быть «большим и сильным» на фоне его немощи. Быть на одном уровне. Смотреть снизу вверх — пусть даже физически, символически. Дать ему почувствовать, что он все еще главный в этом диалоге.

— Давайте попробуем. Один шаг. Просто один... Только

встать и сделать шаг. Дальше не надо. Только один...

Он переводит взгляд на меня. Медленно, с усилием, будто само движение глазных яблок требует энергии. В этом взгляде — концентрированная, чистая, незамутненная ненависть. Глаза злые, колючие, прожигающие насквозь. Но я знаю, я научился различать оттенки: это ненависть не ко мне. Это ненависть к своей судьбе. К телу, которое предало в самый неподходящий момент. К миру, который продолжает крутиться, пока он прикован к этому креслу. К какому-нибудь соседу по бывшей работе, который теперь занял его место и наверняка радуется. К жене, которая смотрит на него с жалостью, а не с любовью. К самому себе — за то, что не уберег себя, не заметил предвестников, не бросил курить раньше.

— Зачем?

Голос хрипит, срывается на полутонах. Слова даются с трудом, левая сторона лица все еще плохо слушается, и звуки выходят искаженными, смазанными, как через испорченный динамик.

— Чтобы встать и упасть? Чтобы ты надо мной потешался? Смотрел, как я... ползу по стенке?

Он выплевывает эти слова, и в каждом — боль. Огромная, невыносимая боль человека, который привык быть сильным, а стал беспомощным.

Я не отвожу взгляд: это важно. Если я отведу глаза — он победит в этом поединке, и мы оба проиграем. Он останется в своей норе, а я потеряю еще одного пациента.

— Чтобы встать и жить, — отвечаю я спокойно. Мой голос звучит ровно, без дрожи, без фальшивого сочувствия. Просто констатация факта. — Я рядом, и я держу. Вы не упадете. Я не дам...

Тишина. Секунда. Две. Три...

В палате слышно только его хриплое дыхание и далекий шум машин за окном. Он смотрит на меня, я смотрю на него. Это дуэль. Кто первый отведет взгляд — тот проиграл.

Он сглатывает. И отводит глаза в сторону.

Маленькая победа. Крошечная, но с нее начинается все...

Я подхожу ближе и подставляю плечо. Он смотрит на меня с сомнением, потом переводит взгляд на мое лицо. Я киваю: «Давайте». Он опирается всей тяжестью своего тела, и я чувствую, как его пальцы впиваются мне в ключицу. Хватка слабая, неуверенная, рука дрожит от напряжения, но он держится. Не сдается: уже хорошо.

Трясущаяся нога ищет опору, скользит по линолеуму пола. Носок тапочка цепляется за край коврика. Я поддерживаю его под локоть, переношу часть веса на себя.

— Давайте. Медленно, не спешите.

Мы делаем шаг. Один.

Я чувствую дрожь его мышц. Каждое усилие. Каждый грамм отчаяния, который давит на меня вместе с его телом. Его дыхание сбивается, становится частым, поверхностным. Он забывает дышать — типичная ошибка. Мозг так сосредоточен на движении, что отключает «второстепенные» функ-

ции.

— Дышите, Джорджио. Не задерживайте про дыхание. Выдох — на усилие. Вдох — когда переносите вес. Давайте, еще шаг. Вы сможете.

Он идет. Два метра до стены и обратно. Для здорового человека — около пяти секунд, даже не заметит. Для нас — марафон. Олимпийский рекорд.

Когда он снова садится в кресло — мокрый от пота, тяжело дышащий, с трясущимися руками — я смотрю ему в глаза. Там уже не ненависть. Там усталость, изнеможение, опустошение. Но не безнадежность.

В самой глубине зрачков теплится искра. Очень слабая, почти незаметная, но она появилась. И это главное.

— Спасибо, — выдыхает он.

Всего одно слово. Хриплое, смазанное, с трудом различимое. Но я слышу в нем больше, чем в любых победных речах. Больше, чем во всех благодарственных письмах от пациентов. Это «спасибо» стоит всего.

Я выхожу в холл. Мне нужно перевести дух. Прислониться спиной к стене, закрыть глаза хотя бы на минуту, выдохнуть чужую боль, которую я впустил в себя. Это профессиональная деформация: мы, реабилитологи, как губки. Впитываем чужую боль, чужое отчаяние, чужие страхи. И если не научиться их отпускать — сгоришь за пару лет.

Я прислоняюсь к прохладной стене, запрокидываю голову, закрываю глаза. И замираю от того, что слышу.

На экране телевизора, прикрученного к стене на высоком кронштейне — чтобы пациенты могли смотреть, лежа на каталках, — идет награждение. Я не вижу картинки, я стою с закрытыми глазами, но слышу звук. Гул толпы. Вспышки камер. Бодрый голос комментатора. И женский смех — звонкий, уверенный, с легкой хрипотцой.

Я открываю глаза.

Цветастая картинка, яркая, живая, как из другой вселенной. Девушка в темном гоночном комбинезоне берет кубок. Кубок большой, блестящий, она держит его над головой. Улыбается, машет рукой трибунам. Ей улыбаются в ответ, аплодируют, тянут микрофоны, фотографы щелкают затворами.

Лицо красивое, дерзкое, уверенное. Скулы острые, подбородок вздернут, глаза горят. Короткие темные волосы, мокрые от шампанского, прилипли к вискам. И это лицо знакомо мне до боли. До озноба, который пробегает по спине.

Регина Пегги Кейган.

Бегущая строка внизу экрана ползет, как змея: *«Регина Кейган — победительница Гран-При Венгрии в Формуле-2. Пятая победа в сезоне. Швейцарская гонимая уверенно идет к титулу»*.

В ушах звенит голос той девчонки из прошлого. Я не слышу его физически, но он звучит внутри, в памяти, так четко, будто это было вчера.

Август. Жара. Паддок Формулы-2. Запах жженой резины

и перегретого масла. Саша, мокрый от пота после квалификации, счастливый, орущий что-то про Монако. И она. Протягивает блокнот Саше, но смотрит при этом на меня. Колючая, худая, с короткой взлохмаченными волосами, которые торчат из-под бейсболки. Глаза оливкового цвета. Взгляд волчонка, который пришел за своей добычей.

«Я тоже буду гонимой. Лучшей!»

Я тогда сказал ей что-то про тормоза. Про то, что скорость — иллюзия. Про то, что нужно уметь останавливаться. Сказал и забыл. А она, видимо, не забыла.

А в памяти всплывает другое. То, что я стараюсь не вспоминать. Но оно всегда рядом, на границе сознания, как радиопомеха в наушниках.

Саша в кокпите. Его лицо, искаженное азартом, адреналином, жадой победы. Мокрая трасса. Дождь, который начался внезапно. Я вижу по телеметрии, что он не сбрасывает скорость перед шиканой. Вижу, что машина идет слишком быстро для мокрого асфальта. И говорю ему в эфир: *«Алекс, замедлись: трасса скользкая»*.

А он смеется. Я слышу его смех в наушниках, перекрывающий рев мотора.

«Дэн, не будь бабой! Я знаю, что делаю! Я чувствую машину!»

И потом — тишина...

Та самая тишина, которая снится мне до сих пор. Которая приходит по ночам, когда я просыпаюсь в холодном по-

ту. Тишина в эфире. Ни крика, ни удара: просто обрыв связи. А потом — картинка с камеры на трассе: исковерканный болид, вмятый в отбойник. И дым. Белый, густой дым над трассой...

Я смотрю на экран телевизора в холле. Регина что-то говорит в микрофон. Я не слышу слов, но читаю по губам: *«У страха есть только одно топливо — бездействие. Я сжигаю его в моторе»*. Губы двигаются красиво, отрепетировано. Глаза горят. Зрители режут. Классика жанра. Я сам когда-то верил в подобные слова. Сам говорил Саше что-то подобное перед гонками. *«Страх — это просто адреналин, используй его»*.

Как же я был глуп...

Я отворачиваюсь от экрана резко, будто обжегся. Телевизор вещает дальше, но я уже не слышу: не хочу слышать. Я иду по коридору мимо палат, где люди учатся заново жить. Где каждый вдох — победа. Каждый шаг — олимпийский рекорд. Каждое слово, произнесенное с трудом, — награда. Здесь нет телекамер. Здесь нет спонсоров. Здесь нет зрителей, которые аплодируют стоя.

Здесь есть только люди. И их боль. И их надежда...

Захожу в следующую палату.

Никола. Ему десять лет, но у него с рождения ДЦП. Спастическая диплегия — мышцы ног постоянно напряжены, движения скованные, неуклюжие. Он вряд ли когда-нибудь будет ходить самостоятельно. В лучшем случае — с ходун-

ками, короткими перебежками от стены к стулу. Он не побежит босиком по траве, не сядет за руль, не нажмет педаль газа в пол. Его тело — тюрьма, из которой нет выхода. Пожизненное заключение без права на амнистию.

Но когда я вхожу в палату, он поворачивает голову и улыбается. Честно, открыто, без тени ненависти к миру, который обошелся с ним так несправедливо. Улыбается, и в его глазах — чистая, незамутненная радость от того, что я пришел.

Он тянет ко мне руки. Тонкие, слабые, с плохо слушающимися пальцами. Но они тянутся. Ко мне. Потому что он мне доверяет.

— Дядя Дэн! Мы будем сегодня заниматься?

Голос звонкий, как колокольчик. Он не знает, что можно ныть. Что можно жалеть себя. Что можно злиться на судьбу. Он просто живет. Каждый день. С тем, что у него есть.

— Будем, Никола, — я сажусь рядом с ним на коврик, скрестив ноги. Опускаюсь на его уровень. — Что у нас сегодня по плану? Мячик ловим или пирамидку собираем?

— Мячик! — командует он с интонацией генерала перед битвой.

Я беру с полки маленький резиновый мячик — ярко-красный, с пупырышками для массажа ладоней. Никола тянется к нему, но я отвожу руку чуть в сторону, заставляя его повернуть корпус. Это упражнение: развитие координации, работа с мышцами спины и плечевого пояса.

Мы возимся с мячом. Я подкатываю его к Николе, он пы-

тается поймать. Пальцы не слушаются, мяч выскальзывает, катится в сторону. Никола хмурится, высовывает язык от усердия — одновременно смешная и трогательная привычка. Я подкатываю снова. Он ловит — вернее, зажимает мяч между ладонями, прижимает к груди, как величайшую драгоценность. И смеется.

Смеется так, что у меня внутри что-то переворачивается. Каждый раз. Каждый чертов раз, когда он смеется, я чувствую, как моя собственная броня дает трещину.

Координация — штука сложная, когда мозг и тело разговаривают на разных языках. У Николы этот диалог нарушен с рождения. Сигналы от мозга к мышцам идут с искажениями, как через испорченный передатчик. Но он старается. Пыхтит, морщит лоб, сосредоточенно сопит. И когда ему удастся не просто поймать мяч, а переложить его из правой руки в левую — он сияет. Улыбается до ушей, показывает мне мяч, будто это не резиновая игрушка, а кубок.

— Дядя Дэн, смотри! Я поймал!левой! Сам!

— Молодец, Никола, — я улыбаюсь ему в ответ, и это не дежурная улыбка врача. Это настоящая. — Давай теперь еще раз. Левая рука тоже хочет учиться.

— Левая плохо умеет, — вздыхает он, и в голосе — ни капли жалобы. Просто констатация факта. Левая плохо умеет. Но это не повод не пробовать.

— Научится. Мы научим. Ты же любишь учиться?

— Люблю, — серьезно кивает он. — Я все умею. Просто

медленно.

Я поправляю ему подушку, убираю выбившуюся прядь светлых волос со лба. Кожа у него теплая, чуть влажная от усилий.

За стеной, в коридоре, телевизор все еще вещает про гонки. Про скорость. Про победы. Про тех, кто быстрее всех. Про тех, кто на подиуме. Звуки доносятся приглушенно, как из другого мира. Из мира, в котором я когда-то жил. Из мира, который я покинул.

А я сижу на полу в палате реабилитационного центра, и передо мной маленький мальчик только что совершает одну из своих главных побед — учится ловить мяч левой рукой. И я помог ему в этом.

Я смотрю на Николу и думаю о том, что там, за стеклом экрана, люди играют в смерть. Рискуют, героически, ловят адреналин, называют это жизнью. А здесь, на этом потертом коврикe, десятилетний мальчик учится жить, имея на руках карты, которые ему сдали не по правилам. И ведь он не жалуется, не ноет и даже не спрашивает: *«За что мне это?»*.

Он просто ловит мяч и смеется.

Я закрываю глаза на секунду, пока Никола сосредоточенно перекладывает мяч из руки в руку, пыхтя от усердия. И вижу Сашу.

Вижу его лицо, когда мы выиграли тот этап в Формуле-2. Счастливое, потное, бесшабашное. Он орал что-то про Мо-нако, про то, что мы всех порвем, про то, что Формула-1 у

наших ног. Мы были молодыми, глупыми и бессмертными.

Вижу его же через год. Зима. Мы сидим в его съемной квартире, заставленной мониторами с телеметрией. На столе — остывший чай, чертежи, распечатки данных. Он водит пальцем по экрану, на котором — карта трассы Монако.

«Вот здесь, в бассейне, я пойду вплотную к борту. Смотри, Дэн: если зайти вот так, под этим углом, можно выиграть полторы десятых. А ты скажешь мне, когда тормозить, чтобы я успел чай попить. Мы сделаем это. Мы поедем в Монако и всех там уделаем!»

Мы мечтали. Строили планы. Верили, что все впереди. Что смерть — это где-то далеко, не с нами, не про нас...

Вижу Регину. Маленькую, колючую, с потрепанным блоком. Взгляд волчонка и ее фраза: *«Я тоже буду гонимой. Лучшей!»*.

Вижу себя. Двадцатилетнего, наивного, верящего, что скорость — это главное в жизни. Что адреналин — это топливо. Что страх — это просто слабость, которую нужно преодолеть.

Гонки — это красиво. Я знаю... Я сам там был, нюхал этот порох, слышал этот рев моторов, чувствовал эту вибрацию, проходящую через все тело. Я понимаю этот кайф. Понимаю, почему люди рискуют жизнью ради нескольких секунд на круге. Понимаю, почему Регина Кейган улыбается в камеру и говорит про «страх, сгорающий в моторе».

Но гонки — это для тех, кто не видел, как быстро гаснет

свет в глазах.

Я видел. Я каждый день вижу...

Здесь, в этом центре, свет гаснет не только от аварий. Не от удара об отбойник на скорости двести сорок. От болезни, от времени, от равнодушной, слепой жестокости природы, которая ломает людей без причины и без смысла. Медленно, неумолимо, без права на второй круг. Без клетчатого флага, который можно увидеть еще раз. Без подиума, на который можно подняться.

И это не лечится скоростью. Это лечится только терпением. И надеждой.

Саша гнал, чтобы жить. Чтобы чувствовать пульс в висках. Чтобы дышать полной грудью, на пределе легких. Он не мог иначе. Скорость была его кислородом. А я ушел, чтобы не дать другим умереть. Чтобы продлить им это дыхание. Чтобы такие, как Никола и Джорджио, могли сделать еще один вдох. Еще один шаг. Еще одну попытку.

Станный получился обмен. Саша отдал жизнь за скорость. Я отдал скорость за чужие жизни. И кто из нас прав — я не знаю до сих пор.

— Дядя Дэн, смотри! — Никола снова поймал мяч, теперь левой рукой, и держит его над головой, как кубок. Глаза сияют. Улыбка до ушей. — Я сам!левой! Получается!

— Молодец, Никола. Ты — чемпион.

Я говорю это серьезно, без тени снисхождения. Потому что для меня он действительно чемпион. Он каждый день

выходит на свою трассу и борется с телом, которое не хочет его слушаться. И побеждает. Медленно, мучительно, шаг за шагом. Без зрителей, телекамер и спонсоров.

Я выхожу из палаты. В коридоре снова слышен шум. Регина уже ушла, теперь крутят повторы гонки. Красный болид влетает в шикану — идеальная траектория, ни миллиметра ошибки. Машина ложится в поворот, как по рельсам. Я смотрю на экран дольше, чем собирался. Вглядываюсь в траекторию, в точку торможения, в то, как она переносит вес машины на переднюю ось.

Инженер во мне просыпается помимо воли. Тормозит слишком поздно агрессивно. На мокром асфальте это самоубийство. Если пойдет дождь — вылетит. Гарантированно. На сухом — пронесет, она талантливая. Но на мокром...

Я ловлю себя на этой мысли и отворачиваюсь резко, будто обжегся. Какое мне дело? Я больше не инженер. Я физиотерапевт. Мои трассы — это коридоры реабилитационного центра. Мои «гонщики» — Джорджио и Никола. Мои победы — их шаги, их улыбки, их пойманные мячи.

Глава 3. Точка невозврата (Регина).

Автодром. Тестовый день.

Скорость — 240 километров в час по прямой.

Бетонные плиты трассы сливаются в сплошную серую ленту под колесами. Краски исчезают, мир становится монокромным — только оттенки серого, только размытые кон-

туры. Бордюры мелькают цветными вспышками по краям периферийного зрения: красный, белый, красный, белый — как пульс, как сердцебиение трассы. Автодромы я знаю наизусть. Каждую кочку, каждый стык, каждый миллиметр асфальта. Я выучила его по симулятору, по бесконечным часам просмотра телеметрии, по ночным кошмарам и дневным грезам. Я могла бы проехать его с закрытыми глазами — и иногда, на симуляторе, я так и делала, проверяя мышечную память.

Но в динамике все происходит иначе.

В динамике трасса живет своей жизнью. Она дышит. Пульсирует. Бросает машину на себя перегрузками, как хищник, который играет с добычей, прежде чем сожрать. Асфальт не статичен — он меняется с каждым кругом, с каждой минутой. Температура покрытия, влажность воздуха, ветер, резина, оседающая на траектории — все это превращает знакомый маршрут в новую, неизведанную территорию.

Сегодняшний выезд не значился в планах. Обычный тестовый день перед этапом. Команда решила, что мне нужно размяться после недели в городе, сдуть пыль с комбинезона, проверить настройки. Руководство настаивало, чтобы я пиарила спонсоров, мелькала в светской хронике, улыбалась на мероприятиях, позировала для глянцевого журналов. Я улыбалась. Я всегда улыбаюсь — это часть контракта, часть образа «Швейцарской ракеты». Но внутри копилось напряжение. Как пар в закрытом котле. Как давление в тормозной

системе перед точкой отказа.

Я не создана для светских раутов. Я создана для кокпита.

Поэтому, когда механики сказали, что есть свободное окно и можно обкатать машину после замены коробки передач, я ухватилась за эту возможность, как утопающий за соломинку. Буквально впрыгнула в комбинезон и застегнула его до конца, когда уже бежала к боксам.

— Два часа, Регина, — напутствовал Фред по радио, когда я уже выезжала с пит-лейн. Голос у него был усталый, с нотками раздражения — он не любил незапланированные выезды, они ломали его выверенный график. — Программа минимум: прогрев резины, проверка тормозов, несколько быстрых кругов для сбора телеметрии. Без фанатизма. У нас завтра симулятор, мне нужна свежая голова, а не выжатый лимон.

— Поняла, — коротко бросила я в ответ, уже вжимаясь в кокпит, подгоняя ремни, чувствуя, как знакомое тепло разливается по телу.

Поняла. Конечно, поняла. Без фанатизма. Размяться. Проверить коробку. Собрать данные. Вернуться в боксы. Я действительно так думала... Правда.

Третий круг.

Перегрузка в 3G вдавлиывает меня в кресло на выходе из второго поворота. Сейчас тело весит в три раза больше, чем должно. Шея уходит в подголовник, мышцы напрягаются, удерживая голову, которая теперь весит как хороший арбуз.

Руки работают четко, ювелирно. Каждое движение отточено до автоматизма, до мышечной памяти, до рефлекса.

Машина слушается. Резина держит. Подвеска отрабатывает бордюры, как послушный, хорошо выдрессированный зверь. Я чувствую каждый миллиметр сцепления с асфальтом через руль — вибрация передается через алькантару, перчатки и кожу: прямо в мозг. Через педали я чувствую, как работает тормозная система, как колодки сжимают диски. Через копчик, поясницу и лопатки я чувствую, как машина дышит, как переносит вес, как цепляется за асфальт.

Я дома. Наконец-то я дома... Ведь в кокпите нет светских хроник, фальшивых улыбок и спонсоров, которым нужно нравиться. Есть только я, машина и трасса: святая троица.

— Хороший круг, — голос Фреда в наушнике звучит почти довольно. Для него это высшая похвала. — Температура в норме, давление масла стабильно. Можешь добавить в десятом. Посмотрим, как коробка держит нагрузку на выходе.

Десятый поворот. Моя любимая скоростная шикана перед прямой. Визитная карточка этого автодрома. Место, где проверяется характер. Где трусы сбрасывают газ, а смелые нажимают. Где грань между контролем и хаосом тоньше лезвия бритвы.

Там надо тормозить поздно. Очень поздно. На грани блокировки колес, на грани срыва в неконтролируемое скольжение. Там проверяется, кто ты на самом деле.

Вхожу в девятый поворот, готовлюсь к торможению. Ско-

рость — 140 километров в час. Точка торможения — 100 метров до бетонного ограждения. Сто метров, чтобы погасить скорость до девяноста, чтобы машина успела «сесть» на переднюю ось, чтобы баланс сместился ровно настолько, насколько нужно для входа в шикану.

Нога давит на тормоз. Гидравлика сопротивляется, но поддается. ABS отключено, как всегда, в гонках — только я и физика. Левое переднее колесо чуть визжит, я слышу этот звук даже сквозь рев мотора и шум ветра. На грани блокировки, но в пределах допустимого. Еще чуть-чуть — и колесо пойдет юзом, машина потеряет сцепление, и я улечу в гравий.

Но я держу: я всегда держу. И тут же — удар... Не тот удар, который бывает, если наехать на поребрик или который чувствуешь копчиком, когда подвеска пробивает на кочке. Другой. Совершенно другой: короткий, жесткий и окончательный.

Будто кто-то гигантским молотом — нет, не молотом, а самой землей — врезал по переднему левому колесу. Будто трасса, которую я считала своим домом, внезапно поднялась и ударила в ответ. Предала.

Мир срывается с оси...

Звук — первое, что исчезает. Вернее, он не исчезает, он трансформируется во что-то другое, во что-то запредельное. В скрежет, который я не слышу ушами, а чувствую зубами. В вибрацию, проходящую сквозь позвоночник, как электриче-

ский ток высокого напряжения. В хруст, который рождается где-то внутри меня и одновременно снаружи.

Передняя левая подвеска ломается. Я чувствую это всем телом — копчиком, лопатками, затылком. Это не звук. Это ощущение конца. Абсолютного, необратимого конца.

Машина резко клюет носом как подстреленная птица. Задирает корму и начинает вращаться. Вертлюг... Бесконтрольное, дикое, животное вращение. Центробежная сила вжимает меня в боковину кокпита, ремни впиваются в тело, дыхание перехватывает.

Небо. Земля. Небо. Земля...

Мир превращается в калейдоскоп. Серый асфальт, голубое небо, белые облака, зеленый откос, красный отбойник — все мелькает с бешеной скоростью, сливаясь в одно сплошное, тошнотворное месиво цветов и форм. Мозг отказывается это обрабатывать. Вестибулярный аппарат сходит с ума, посылает противоречивые сигналы: верх, низ, право, лево, все одновременно, все сразу.

— Регина! — голос Фреда в наушниках превращается в сплошной крик, в визг, в животный вопль. — Регина, ответь! Регина!!!

Я не могу ответить. Меня швыряет в кокпите, как тряпичную куклу, как пустую пластиковую бутылку в шторм. Ремни безопасности впиваются в тело так, что кажется, сейчас разрежут плоть до кости, перережут ключицы, сломают ребра. Грудные ремни душат, не дают вдохнуть. Я вишу на них, а

центробежная сила рвет меня на части, пытается выдернуть из кокпита, размазать по асфальту.

Удар о барьер. Лобовой. Чудовищный. Мир взрывается белой вспышкой боли.

Перегрузка зашкаливает за 40G — я помню эти цифры по инструктажам, по лекциям по безопасности, по рассказам врачей. 40G, 40 раз по весу твоего тела. Внутренности, кажется, отстают от позвоночника и болтаются где-то под горлом, прижатые к диафрагме. Сердце, печень, легкие — все смещается, сдавливается, превращается в однородную массу боли. Голова мотается, ударяясь о внутреннюю часть шлема, хотя HANS-система должна ее держать. Плевать она хотела на систему, когда инерция хочет оторвать тебе голову от плеч, как пробку от бутылки.

Второй удар.

Кормой. Хруст позади — двигатель? Коробка передач? Заднее антикрыло, которое отрывается и летит куда-то в поле? Плевать. Плевать, что там ломается, потому что ломаюсь я сама.

Третий удар.

Еще. И еще...

Я перестаю считать. Перестаю различать удары. Они сливаются в одну сплошную, бесконечную агонию металла и плоти.

Сколько это длится? Секунда? Вечность? Я не знаю. Времени больше не существует. Есть только вращение, боль и

этот проклятый высокочастотный писк в ушах. Писк, который сверлит мозг, который громче любого мотора, который заполняет всю вселенную.

Остановка. Резкая, внезапная, как удар о бетонную стену. Тишина.

Звнящая, абсолютная, оглушающая тишина. Такая громкая, что хочется закричать, лишь бы не слышать ее. Только писк в ушах — высокочастотный, противный, как комар над ухом, которого невозможно отогнать. И стук сердца. Глухой, тяжелый, неровный.

Я жива. Пока жива...

Пыль. Везде пыль. Карбоновая крошка, резиновая пыль, асфальтовая взвесь, осколки пластика — все это висит в воздухе, оседает на лице, на стекле визора. Я чувствую ее во рту — противный, химический вкус. В носу — резь, как будто вдохнула битое стекло. Вкус крови. Медный, соленый, тошнотворный. И бензина. Едкий, сладковатый запах топлива, который может означать только одно: пожар.

Но пожара нет. Пока нет...

Я вижу небо. Кокпит открытый: формульный болид не имеет крыши, но я не понимаю, где верх, где низ. Вестибулярный аппарат отключился, послал все к черту, сдался. Глаза открыты, но картинка плывет, двоится, троится, распадается на фрагменты, которые не складываются в единое целое. Отбойник надо мной? Подо мной? Рядом? Я не знаю. Я ничего не знаю.

Больно. Везде.

Но это не та боль, которой можно закричать. Не острая, режущая боль перелома. Это глухая, тупая, разлитая по всему телу боль, которая накатывает волнами, как прилив. Которая придет позже, когда спадет шок. Которая останется надолго. Навсегда.

Сейчас только писк в ушах и запах. Едкий, химический — то ли антифриз, то ли тормозная жидкость, то ли масло из разорванного радиатора. И тишина в наушниках. Фред молчит. Или я не слышу? Или связь оборвалась? Или он уже не со мной, а вызывает скорую, орет на механиков, бьет кулаком по столу?

— Регина! Регина, ты меня слышишь?!

Голос Фреда пробивается сквозь вату. Сквозь писк. Сквозь шум в ушах, похожий на прибор. Связь работает. Он здесь. Он со мной.

Я хочу ответить: *«Да. Я слышу. Я жива. Я здесь. Я не умерла»*.

Я открываю рот. Губы двигаются. Язык — чужой, непослушный, распухший — ворочается с трудом.

— Я не дозвонилась до отца...

Слова выходят сами. Не те, что я хотела сказать. Совсем не те. Откуда они взялись? Почему сейчас, в этот момент, я думаю об отце? О том, как набирала его номер в отеле после победы, слушала длинные гудки. О том, как он не взял трубку. Никогда не берет...

— Он не взял трубку...

Губы шевелятся, но я не слышу своего голоса. Только чувствую как воздух выходит из легких и как вибрируют голосовые связки. Есть ли звук? Я не знаю. Фред что-то кричит в ответ, но его голос тонет в помехах, в писке, в шуме. Он где-то далеко, в другой вселенной, в другом измерении. А я здесь. Одна. В пыли и бензине.

Темнота накатывает с краев зрения. Постепенно и неумолимо, как затвор фотоаппарата, который закрывается. Картинка сужается до тоннеля. Яркого, светящегося тоннеля, в центре которого — лицо.

Лицо отца.

Не такое, каким оно было вчера, когда я звонила. Не уставшее, с морщинами и сединой. А такое, каким оно было в детстве. Улыбающееся, с масляными разводами на щеке — он раньше возился в гараже и забывал умыться. С хитринкой в глазах, с ямочкой на подбородке. Он что-то говорит, но я не слышу. Я только вижу, как двигаются его губы. И читаю по ним, как читала в детстве, когда он учил меня понимать машины без слов.

«Держись, дочка. Я здесь. Я всегда здесь».

Тоннель сужается до точки.

Потом — ничего...

Три дня спустя.

Я не понимаю, где я.

Это первая мысль, которая пробивается сквозь вату в го-

лове. Мысль рождается медленно, мучительно, как будто продирается сквозь толщу воды. Вторая мысль: почему так светло? Свет бьет в глаза даже сквозь закрытые веки, красный, пульсирующий. Третья: почему так тихо? Где мотор? Где рев двигателя, который должен быть фоном моей жизни?

Потолок. Белый, ровный, чужой. С квадратными плитами и встроенными лампами дневного света. Одна лампа чуть мерцает — этот ритмичный пульс и пробивается сквозь веки.

Пахнет лекарствами. Тем самым больничным запахом, который ни с чем не спутаешь. Спирт, хлорка, антисептики, латекс, стерильность. Во рту сухо, как в пустыне. Язык распух, не ворочается, прилипает к небу, как наждачная бумага. Губы потрескались, я чувствую вкус крови — той самой, из аварии, или уже свежей, от трещин?

— Сознание стабильное, гемодинамика в норме, — голоса где-то справа, за пределами моего поля зрения. — Давление подняли до рабочих значений, тахикардия купирована медикаментозно. Неврологический статус без отрицательной динамики.

Чужие голоса. Профессиональные, спокойные, равнодушные. Так говорят врачи, когда обсуждают не человека, а клинический случай. Историю болезни. Набор симптомов и показателей.

Я пытаюсь повернуть голову. Получается с трудом. Шея словно зафиксирована, каждый градус поворота дается с бо-

ем, с болью в позвоноках. Но получается. Сантиметр за сантиметром. Шея, плечо, дальше.

Двое в белых халатах стоят у моей кровати. Один — лысый, с пышными седыми усами, в очках на цепочке. Скорее всего заведующий отделением или ведущий хирург. Второй — молодой, с трехдневной щетиной и темными кругами под глазами, в руках планшет со стилусом. Ординатор или дежурный врач.

Они не смотрят на меня. Они смотрят на снимки, которые держат в руках, подсвечивая на специальном стенде. Мои снимки. Я узнаю эти черно-белые, призрачные изображения костей — МРТ, рентген, компьютерная томография. Я видела такие сотни раз на медосмотрах, на брифингах по безопасности, в учебниках по спортивной медицине. Но никогда не думала, что буду рассматривать свои собственные.

— Переломы сложные, — говорит лысый, водя пальцем по снимку. Ноготь у него коротко острижен, чистый, с легкой желтизной от возраста. — Большеберцовая, вот здесь, видите линию? Малоберцовая, поперечный. Таз — трещина подвздошной кости. Вот здесь оскольчатый перелом, видите? Мелкие фрагменты. Хорошо, что осколки не сместились в сосудистый пучок, обошлось без повреждения артерий. Операция прошла хорошо, металл поставили качественный, титановые пластины, штифты. Жить будет. Конечности сохранили.

Второй кивает, что-то быстро помечает в планшете сти-

лусом. Его лицо ничего не выражает — профессиональная маска.

— С позвоночником большое везение. — Лысый показывает на другой снимок, где виден мой позвоночный столб — ровная цепочка позвонков. — Вот, смотрите: перегрузки при ударе были запредельные, около 40G. При таких цифрах обычно компрессионные переломы нескольких позвонков, разрывы связок, смещения с последующей невозможностью ходьбы. А здесь — легкая компрессия, микротрещина в теле L2, без смещения, без повреждения спинного мозга. Видимо, мышечный корсет сработал как амортизатор. Тренированное тело, профессиональный спорт. Восстановление будет долгое, на месяцы, но ходить будет.

В палате тихо. Только плачет какой-то прибор, отсчитывая удары моего сердца, да шумит кондиционер. Я слушаю их разговор, и каждое слово впечатывается в мозг, как клеймо.

Переломы. Титан. Трещина. Восстановление. Месяцы...

— А карьера?

Голос чужой. Хриплый, скрипучий, надтреснутый. Будто я не говорила три дня, а пила наждачку и курила пачку сигарет. Я не узнаю свой собственный голос. Но это говорю я.

Оба врача замолкают.

Мгновенно. Как будто кто-то выключил звук на пульте. Как будто время остановилось. Они поворачиваются ко мне одновременно — лысый медленно, с достоинством, молодой

резко, испуганно. И я вижу в их глазах то, чего не должны видеть пациенты. То, что врачи обычно прячут за профессиональной маской.

Сожаление. Жалость. И что-то еще, хуже жалости: безнадежность. Приговор...

Они смотрят на меня так, как смотрят на разбитый болид, который привезли в боксы на эвакуаторе: *«Жалко, хорошая была машина. Многообещающая. Подавала надежды. Но восстановлению не подлежит»*. Списать. Забыть. Взять новую.

Лысый вздыхает. Вдох долгий, тяжелый, как будто он несет на плечах груз всех своих пациентов. Он переминается с ноги на ногу, смотрит куда-то в сторону окна, на деревья за стеклом, на серое небо. Не на меня: ему трудно смотреть на меня.

— Регина... — голос у него мягкий, участливый. От этого еще страшнее. Лучше бы он кричал. Лучше бы он был грубым и равнодушным. — Вам нужно думать сейчас не о карьере. Совсем не о карьере. Забудьте это слово на... ближайший год. Вам нужно думать о том, как снова начать ходить. Как восстановить подвижность суставов. Как вернуть мышцы в тонус. Это займет месяцы. В лучшем случае — полгода до первых самостоятельных шагов. Год до нормальной походки. Может быть, больше...

Он делает паузу. Я вижу, как он подбирает слова. Как будто морщится от боли. Как его пальцы теребят цепочку от оч-

ков.

— Перегрузки в Формуле-2, как вы знаете лучше меня, — это 3-4G на торможениях и в поворотах. Постоянно. Круг за кругом. Год за годом. Ваш позвоночник, хоть и не сломан в классическом смысле, но перенес травму. Микротрещина в теле позвонка — это не шутка. При таких нагрузках, как в гонках, она может перерасти в полноценный перелом. Со смещением. С повреждением спинного мозга. И тогда... — он замолкает.

Второй врач, молодой, тактично изучает свои ботинки. Ему неловко. Он еще не научился сообщать пациентам такие новости. Он думает, что со временем это станет легче. Он ошибается.

— И тогда? — мой голос все такой же чужой, хриплый, но теперь в нем звенит сталь. Я требую ответа. Я имею право знать.

Лысый смотрит мне в глаза. Впервые за весь разговор.

— Тогда вы не просто не сядете за руль. Тогда вы не встанете с инвалидного кресла. Никогда.

Он говорит это тихо. Почти шепотом. Но каждое слово бьет, как молот по наковальне.

Я закрываю глаза.

«Никогда»...

Какое короткое слово. Всего семь букв. А вмещает в себя целую вечность. Вмещает смерть всего, чем я жила. Вмещает конец.

Я хочу заплакать. Чувствую, как комок подкатывает к горлу — тугой, горячий, удушающий. Как жжет в носу, как предательски щиплет веки изнутри. Но слез нет. Организм слишком обессилен для слез. Слишком обезвожен, слишком измучен. Только сухие, конвульсивные всхлипы, которые сотрясают грудь и отзываются острой болью в переломанных костях, в ребрах, в ключицах. Каждый всхлип — как удар ножом.

«Никогда».

В палате тихо. Только плачет прибор, отсчитывая удары моего сердца. Сердца, которое продолжает биться. Зачем? Ради чего? Все, ради чего оно билось, только что умерло. Остановилось. Разбилось об отбойник вместе с машиной.

Врачи что-то говорят. Я не слышу, их голоса — белый шум, фон, помехи. Они уходят, тихо прикрыв за собой дверь. Я остаюсь одна.

Одна в белой палате с титаном в ногах и «никогда» вместо будущего.

Где-то далеко, за стенами больницы, за городом, за страной, по трассам едут другие. Они жмут на газ на прямых. Входят в повороты на грани сцепления. Ловят перегрузки всем телом. Живут. А я лежу здесь, прикованная к кровати, с трубками в венах и проводами на груди. И впервые в жизни мне хочется, чтобы скорость остановилась.

Не на пит-стоп. Не до следующей гонки. Навсегда...

Я открываю глаза и смотрю в белый потолок. Лампа все

так же мерцает — ритмично, как пульс, как сердцебиение, как отсчет кругов. Раз, два, три. Раз, два, три.

Я начинаю считать. Не знаю зачем. Просто чтобы чем-то занять мозг. Чтобы не думать о «никогда». Чтобы не слышать этот проклятый писк в ушах, который вернулся, как только врачи ушли.

Раз, два, три.

Где-то на сотом мерцании лампы я проваливаюсь в сон. Тяжелый, липкий, без сновидений. Сон, в котором нет ни трассы, ни скорости, ни победы.

Только белый потолок. И «никогда»...

Глава 4. Ноль (Регина).

Два месяца спустя.

Я перестала считать дни после третьей недели.

Сначала это казалось важным. Понедельник, вторник, среда — каждый день был как пройденный сектор на трассе. Еще один день ближе к выписке. Еще один день ближе к возвращению в кокпит. Я вела мысленный календарь, отмечала галочками, считала недели до того момента, когда снова надену гоночный комбинезон, застегну ремни, нажму педаль газа. Это было моим топливом. Моим бензином в баке.

Потом я поняла, что возвращения не будет...

Не в том смысле, что врачи сказали «никогда». Они сказали: «Возможно, через годы, но без гарантий». Но я знала. Я чувствовала это телом, костями, каждой клеткой. Тот бо-

лид, который был моим — мое тренированное, послушное, идеально настроенное тело — его больше нет. Он разбит. Восстановлению не подлежит. Можно собрать новый, но это будет другая машина. Другой человек.

И дни потеряли свои сектора. Перестали иметь значение. Превратились в бесконечную, серую прямую без поворотов, без торможений, без финишной черты.

Реабилитационный центр за городом. «Восхождение» — гласит табличка у ворот. Громкое, пафосное название для места, где люди учатся заново делать то, что когда-то умели с рождения. Тишина здесь особенная. Не та тишина, которая бывает в кокпите перед стартом — напряженная, звенящая, полная ожидания. А другая. Ватная, глухая, как подушка, которой накрывают лицо. Сосны за окном стоят неподвижно, как нарисованные. Белые стены пахнут краской и антисептиком. Вежливые люди в синих поло улыбаются, говорят «доброе утро», спрашивают, как самочувствие, и не ждут честного ответа.

Меня привезли сюда, когда острая фаза прошла. Когда врачи в спортивной клинике — той самой, где лечат олимпийских чемпионов и звезд футбола — развели руками и сказали: *«Дальше не к нам. Дальше к физиотерапевтам. Реабилитация, восстановление моторики, работа с мышечной памятью. Это долго и мучительно. Это не наша специализация».*

Команда оплатила лучший центр. Команда «Crimton

Ignection Motorsports Group», за которую я выступала, всегда славился щедростью к своим бывшим пилотам. Это часть имиджа: мы заботимся о своих, даже когда они больше не могут приносить очки в зачет Кубка конструкторов. Золотой парашют. Выходное пособие.

«Спасибо, девочка, ты была хороша в этом сезоне. Пятая победа на Гран-При Венгрии вошла в историю. Но теперь ты вне квоты. Теперь ты — списанный актив. Мы снимаем с себя ответственность за твой контракт, за твое будущее, за твою жизнь. Дальше — сама.»

Я не злюсь. Честно... Я пыталась злиться — лежала ночами, смотрела в потолок и пыталась вызвать в себе ярость, которая всегда была моим топливом. Но ярость не приходила. У меня просто нет сил на торможение эмоциями. Все силы уходят на то, чтобы дышать, чтобы переваривать боль, чтобы не сойти с ума от этой тишины.

Первая попытка — самый жесткий пит-стоп в моей жизни. Хотя какой там пит-стоп — это не смена резины за 2,3 секунды. Это попытка просто встать. Просто поднять свой собственный вес с кровати и удержать его на двух ногах с помощью тех дешевых ходулей.

Хоть прошло всего-навсего ничего, я хочу доказать, что реабилитируюсь. Что скоро я смогу ходить сама, без помощи. Что смогу, как раньше, гонять на любимых болидах на высокой скорости и вновь наслаждаться этим опьяняющим чувством.

Раньше тело слушалось меня с полуоборота. Это было так естественно, что я не задумывалась об этом никогда. Как дыхание. Как сердцебиение. Я хотела нажать на газ — и правая нога с усилием в 40 килограммов давила на педаль, отправляя машину в разгон. Я хотела повернуть — и руки вращали руль с точностью до градусов, чувствуя каждый миллиметр смещения передних колес. Я хотела замедлиться — и мышцы бедер сами находили нужную точку торможения, нужное усилие, нужный момент для переноса веса.

Это было как дышать через шлем: происходит само, без контроля сознания. Автоматизм, мышечная память. Рефлекс.

Сейчас я сижу на краю койки и смотрю на свои ноги, укрытые тонким больничным одеялом, и не понимаю, как ими пользоваться. Они мои? Точно мои? Те самые ноги, которые жали на педали сотни, тысячи раз? Те самые, которые держали перегрузки в 5G на торможении перед шиканой? Те самые, на которых я стояла на подиуме, обливая шампанским своих товарищей, толпу и себя?

Почему они выглядят такими чужими? Такими тонкими, бледными, беспомощными? Кожа — как папиросная бумага, под ней проступают синие вены. Мышцы атрофировались за три месяца бездействия, исчезли, растворились, оставив после себя дряблые жгуты. Без мышечного тонуса пилота. Без силы. Без жизни.

Я откидываю одеяло. Смотрю на свои ноги — и чув-

ствую отвращение, тошноту. На правой голени — бугристый шрам от операции. Хирургический разрез, через который мне вставляли титановый штифт в большеберцовую кость. Шов еще розовый по краям. На левой — два шрама поменьше, там, где фиксировали малоберцовую. На бедре — еще один, от операции на тазовой кости. Мои ноги теперь — карта боевых действий, топография катастрофы.

Медсестра Ивон — молодая, круглолицая, с вечным оптимизмом в глазах и румянцем на щеках — подставляет ходунки. Железную, дурацкую, унижительную конструкцию на четырех опорах. Алюминиевые трубки, пластиковые рукоятки, два колесика спереди — для тех, кто уже может немного передвигаться. Для меня пока заблокированы.

В моем мире были только карбон, титан, кожаный руль. Машина, которая стоила миллионы евро и слушалась малейшего движения моих пальцев. А теперь — ходунки из медицинской стали. Дешевые, стандартные, безликие. Они пахнут спиртом и сотнями чужих ладоней, которые на них опирались, сходя с дистанции. Такие же, как у восьмидесятилетних старух в домах престарелых. Такие же, как у безнадежных.

— Давайте, Регина, — говорит Ивон бодрым голосом, как говорят с детьми в песочнице или с новичками за рулем учебной машины. — Вы можете опираться на меня. Руки на поручни. Не бойтесь. Я рядом.

Я не боюсь. *«Страх — это топливо»*, я сама так говори-

ла перед камерами. Я повторяла это сотни раз, как мантру, как заклинание. Но сейчас, глядя на эти ходунки, я чувствую что-то другое. Что-то, чему нет названия в моем гоночном лексиконе.

Ужас... Чистый, концентрированный ужас перед тем, что телеметрия тела показывает ноль.

Я протягиваю руки. Ладони ложатся на холодный металл поручней, пальцы сжимаются автоматически. Хватка осталась — это единственное, что у меня не отняла авария. Пальцы помнят, как держать руль. Помнят, какое усилие нужно, чтобы удержать машину в повороте. Помнят все.

Я пытаюсь перенести часть веса на правую ногу. На ту, что с титановым штифтом. Мозг посылает сигнал: *«Сократиться. Напрячься. Принять нагрузку»*. Сигнал идет по нервам, по проводам, которые, вроде бы, не повреждены. Доходит до мышцы.

И я чувствую... ничего.

Нет, не ничего. Я чувствую, как где-то глубоко внутри, в самом центре бедра, в самой сердцевине кости, включается красный сигнал на приборной панели.

Боль.

Резкая и дикая. Вышибающая дух. Она взрывается под кожей, как активированная подушка безопасности. Разбегается искрами по нервам, добирается до позвоночника, поднимается вверх, в мозг, и там взрывается снова, ослепляя, оглушая.

CHECK ENGINE! STOP! DNF!

Красные лампочки вспыхивают перед глазами, хотя их нет в реальности. Я вижу их внутренним зрением — те самые сигналы на руле, которые загораются, когда машина умирает. Когда давление масла падает до нуля. Когда температура двигателя зашкаливает. Когда гидравлика отказывает.

Но нога... она не держит. Она резиновая. Чужая. Будто мне привязали спущенную покрышку-слик вместо моей собственной конечности. Я давлю, мозг орет: *«Сократись! Держи перегрузку! Работай, черт тебя дери!»*, а мышцы молчат. Или кричат, но по-своему, на языке боли, который я не понимаю и не хочу понимать.

— Не могу... — выдыхаю я.

Голос срывается, хотя я прикусываю губу до крови, чтобы не показать слабость. Чтобы не заплакать. Чтобы не закричать. Я — Регина Кейган. Я не показываю слабость. Я сжигаю страх в моторе. Я...

— Можете, вы ведь сами захотели встать. — Ивон не отступает. Ее оптимизм — это профессиональная броня, я понимаю. Она видела сотни таких, как я. Сотни людей, которые думали, что никогда не встанут. И многие из них встали. — Давайте, еще раз. Просто встаньте. Не надо идти. Просто поднимитесь и старайтесь держаться на прямой. Опирайтесь на меня, я держу страховку.

Она подхватывает меня под локоть. Ее рука теплая, сильная, уверенная. Рука человека, который привык ловить па-

дающих.

Я пробую снова. Закрываю глаза, чтобы не видеть эти дурацкие ходунки, эту дурацкую палату, эту дурацкую жизнь. За веками — темнота. В темноте — я сама. Та, прежняя. В гоночном комбинезоне, в шлеме, в перчатках. В кокпите.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.